

Часть первая

Я верую полной верой в приход Мессии, и хотя он медлит, я буду ждать каждый день, что он придет.

Маймонид.
13 принципов веры

— Доброе утро, дорогие радиослушатели! Радиостанция «Русский голос» начинает свои передачи из шестой иерусалимской студии. Сегодня девятнадцатое марта, вторник, по еврейскому летоисчислению — каф зайн месяца адара, пять тысяч семьсот пятьдесят пятого года. Прослушайте сводку новостей, с которой вас познакомит Алона Шахар.

— Пятеро солдат убиты и четверо ранены в результате вчерашних столкновений с террористами из отряда «Хизбалла» на границе с Ливаном. Боевики «Хизбаллы» привели в действие взрывное устройство, когда наши солдаты патрулировали...

— А между тем, Машиах придет в две тысячи седьмом году! — Сема закурил и, спохватившись, стал ковшиком ладони предупредительно гонять дым перед носом собеседницы. — И я это с детства знал.

— Да? — вежливо заметила она, размешивая ложечкой сахар в кофе.

Буквально минут за пятнадцать до того они закончили писать в студии радиопередачу на тему «Литературная Родина». Сема, ведущий передачи, спрашивал ее, редактора литературного приложения одной из русских газет, — возможно ли, по ее мнению, дальнейшее развитие русской литературы в условиях Ближнего Востока. И она абсолютно серьезно отвечала, хотя за выступление не платили, как и за многое другое. Да если б и платили? Смешно, копейки... Нет, это она из дружеского расположения к Семе согласилась прийти и, рискуя репутацией приличного человека, нести в эфире тошнотворную ахинею: да, она считает, что... уникальная культурная ситуация... благодаря массовой репатриации, в нашем государстве образовалась концентрация творческих сил... влияние на дальнейший расцвет...

Какой расцвет?! Расцвет — чего?! Дайте спокойно умереть... Впрочем, Семины литературные передачи шли на Россию, а значит, их никто не слушал.

Под конец, перечисляя авторов своего литературного еженедельника, она увлеклась и разогрелась настолько, что даже прочитала несколько строк стихотворения Вали Ромельта. Словом, забыла — где и зачем находится.

— Ну что ж, впечатляет! — суетливо перебил ее в

конце строки Сема Бампер, глядя на часы и пальцем рисуя в воздухе круг. — Итак, напоследок буквально два слова: ваши планы?

— Планы? — переспросила она. Своими идиотскими кругами перед носом Сема сбил ее с настроения. К тому же о планах публикаций на ближайшие номера она уже говорила.

— Ну да. В глобальном смысле.

И опять судорожные круги в воздухе, обеими руками: закружись, мать! В глобальном смысле, подумала она, эту передачу никто не услышит.

— В глобальном смысле, — гордо, и даже торжественно сказала она в микрофон, — мы и впредь намерены выплачивать авторам небольшой, но твердый гонорар.

Сема подавился заранее приготовленной репликой, должной завершить эту кругленькую передачу.

— Ну, гонорар! — воскликнул он бодро. — Это не главное в творчестве, а лишь незначительное производное.

— К сожалению, незначительное, — поспешно согласилась она. — Зато мы с моим коллегой, графиком Витей, вот уже пятый год получаем приличное жалованье. Разве это — не победа над хаосом эмиграции?

Сема округлил глаза, замахал руками и выключил микрофон.

— Вырежу! — пообещал он. — Оборву на стихах Ромельта и пушу Дюка Эллингтона... Хороша, нечего сказать! Гонорар, жалованье, деньги... Старуха, ну нельзя же так... приземленно смотреть на высокое.

— По поводу высокого, — сказала она, вздохнув, — мы чуть ли не единственные, кто платит авторам в этой е...ной русской прессе...

Потом они спустились в местный буфет — большую, вполне уютную комнату на первом этаже, с пане-

10 лями, незатейливо обшитыми формайкой, — и взяли по чашечке кофе.

Ей вообще-то хотелось пива, но неудобно было обременять Сему — он угошал. Порядочки: за выступление авторам они не платят, но могут оплатить такси и — как стопарь водки грузчику после работы — свести после передачи в буфет.

Сема, как и многие, заблуждался по поводу ее пристрастий — она бы сейчас выпила пива. А может, и граммов пятьдесят коньяка — перед тем, что ей еще сегодня предстояло.

К тому же он вдруг затеял этот идиотский разговор о Машиахе, и она побоялась опять выглядеть слишком приземленной со своей просьбой о пиве.

— А я попробую задержать на год его пришествие! — лукаво и победно закончил он, раскачиваясь на задних ножках стула.

— Зачем? — осторожно спросила она. То, что евреи екнулись на пришествии Мессии (по-здешнему Машиаха), она, конечно, знала и раньше. Но то поголовное, повсеместное, профессиональное ожидание Мессии (ожидание, с вокзальным, справедливо добавить, оттенком), с каким она столкнулась в этой стране, поначалу ее даже обескуражило. К счастью, она сразу поняла, что Ожидание является здесь образом жизни, основным ее содержанием, а она свято относилась ко всему, что составляло основное содержание жизни любого человека.

А тут еще две тысячи лет... С застарелыми болями вообще следует обходиться осторожно, и никаких резких движений...

Сема подался вперед, хлопнувшись на все четыре ножки стула.

— Понимаешь, мне по гороскопу положена в скором будущем одна величайшая международная пре-

мия в области изобразительного искусства. Мне ее сперва получить надо, а потом уж... Вообще же Машиах... — Сема остро глянул на нее из-под колючей брови, и она вовремя сделала преданное лицо: все-таки, он угощал. — С этим, видишь ли, не все так просто... Ведь Машиахом могут стать некоторые из нас, пути не заказаны. В конце концов, в еврейской традиции, то есть в источнике, Машиах — вполне телесный, реальный человек, полный сил и радости. В ТАНАХе сказано: «Говорил Давид: буду веселиться я пред Господом». А еще сказано: «И Давид плясал изо всех сил пред Господом; а опоясан был Давид льняным эйфодом». Так что вот, живешь ты, живешь... и вдруг ощущаешь в себе концентрацию неких мощных сил... Так что опрощать не стоит.. Ибо Машиах — это... — Он пристально и многозначительно рассматривал столбик пепла на сигарете.

— Это ты? — кротко догадалась его собеседница. Сема запнулся, внимательно поглядел на нее, что-то прикидывая в уме, и наконец проговорил:

— Помолчим пока об этом... Он проводил ее до проходной, очень складно разместившейся в этом доме старой арабской кладки. Изнутри все было перестроено и модернизировано: автоматически раздвигающиеся двери, зеркала, стойка с телефонами, за которой сидели солдаты — двое парней и девушка.

Они громко над чем-то смеялись и, смеясь, машинально отдали ей паспорт, который она час назад сдала, получая пропуск на студию...

— Ты куда — домой? — спросил Сема, по-домашнему оправляя на ней воротник плаща. — А мне еще экскурсию вести.

— Ты водишь экскурсии? — удивилась она, хотя давно дала себе слово не удивляться ничему в этой стране, и в частности Семе Бамперу.

12 — Да я бы с удовольствием послал на фиг всех туристов, но видишь ли, — Сема улыбнулся застенчивой улыбкой, — моя слава ведущего русского экскурсовода бежит впереди меня...

Она представила себе Семину славу, трусящую впереди него в образе собаки, на бегу выкусывающей блоху. И как Сема поспекает за этой своей славой, то и дело поддавая ей ногой под хвост.

Сема Бампер давно уже поражал ее жизнерадостной доброжелательностью ко всем, широтой души и абсолютной незлобностью. А ведь в молодости Сема был боксером, подумала она. Бил морды, надо полагать. И ему били... До известной степени Сема оставался для нее загадкой.

— А кого ты сегодня водишь? — спросила она.

— Одну миллиардершу-магометанку из Набережных Челнов и ее рабыню-христианку, — сказал Сема. — Раскидаю их по святыням, и будь здоров...

Нет, прочь, прочь отсюда, пока бедный разум вмещает хоть какое-то подобие реальности... Миллиардерша-магометанка. Причем из Набережных Челнов. И ее рабыня, значит. Христианка.

— Рада была повидать тебя, — сказала она и пошла вверх по узкой и крутой улице Королевы Елены, по которой всегда боялась ходить в сумерках. Улочка была не из приятных: слева тянулся забор столетней каменной кладки, справа зияли мусорные подворотни — эта улица спускалась к старому и неудобному району Мусрара, граничащему с Восточным Иерусалимом.

Ничего, спокойно: отсюда метров сто до освещенного перекрестка, до пригласительно светящихся полуарочных окон курдского ресторана «Годовалая сука». Иди ровно, дыши легко и не оборачивайся на подозрительные шаги за спиной... Да, а в «Годовалой суке» подают великолепный «марак-кубэ», острый суп, в кото-

ром плавают большой жареный пирожок... И недорого, шекелей семнадцать...

Сзади шелкнул затвор оружия.

Шея!!!

Она рывком — как всегда, нелепо, жалко дернувшись, — оглянулась.

За нею неторопливо трусил старичок с пуделем, пошелкивая кнопкой переключения длины ремня на ободе поводка. Мирный старикан, очаровательный пудель. Человек прогуливает своего пса, идиотка ты старая...

Не вернусь сегодня, решила она. Чтоб мне провалиться, — именно сегодня ехать нельзя!

На остановке она позвонила домой из телефона-автомата. Взял трубку муж.

— Я не вернусь сегодня, — сказала она.

— А когда-нибудь вернешься? — спросил он, как обычно, по отношению к ней — насмешливо-меланхолично. Он был человеком сильных страстей, и ради нее когда-то в одночасье пустил по ветру всю свою прошлую жизнь.

— Когда-нибудь вернусь. Ты уложил Мелочь?

— Да спит, спит...

— А Кондратику температуру мерил?

— Не волнуйся, он даже немного поел... Мелочь — была семилетняя дочь, вымученный поздний ребенок. Кондратик — годовалый тибетский терьер, единственная радость сердца, внимательный собеседник и душа-человек...

— Зяма! — сказал вдруг муж, и она задержала трубку. — Вы мне нравитесь! Вы — неброская женщина, но мне вы подходите. Кто у меня остался, кроме вы!

Она засмеялась и повесила трубку.

Успела вскочить на подножку автобуса. Завтра семичасовым ехать на работу в Тель-Авив, и действительно, разумнее переночевать у родителей.

14 Они снимали квартиру в двух минутах ходьбы от автобусной станции.

* * *

Это мужское имя она получила в честь деда Зямы, Зиновия Соломоновича, старого хулигана, остроумца, бабника и выпивохи, комиссара и гешефтмахера, — коротышки дьявольского обаяния.

Его невестка, родив вместо ожидаемого сына недоношенную девочку, все-таки упрямо назвала ее Зиновией — к ужасу и возмущенным воплям всей еврейской родни.

У евреев запрещено называть новорожденного в честь еще живущего человека. Считается, что этим ты как бы намекаешь живому, что ему уже есть какая-никакая замена поновее и он может быть свободен от занимаемого на земле места.

Если вдуматься, так это действительно некорректно. Что ей — мало было имен, тем более женских — легких, звучных, раскатистых: Регина, например, Маргарита, Вероника...

Но мать была упряма, молода, по отцу вообще была русской (а у тех, наоборот — принято называть детей в честь вполне еще полнокровных людей). На еврейские обычаи и заведенные давным-давно привычки мать смотрела со снисходительным спокойствием. К тому же она боготворила деда. Впрочем, как и все женщины, когда-либо его окружавшие.

Поначалу в семье пробовали называть девочку Зиной (Зиночка, Зинуля). Но она уродилась такой копией деда, особенно в раннем детстве — до карикатурного сходства: щеки свисали на плечи, крепкие толстые ножки проворно семенили вразвалочку, круглые зеле-

ные глаза так лукаво и пристально разглядывали этот мир, что домашние сдались. Она была Зямой, урожденной Зямой, и ничего тут уже не поделаешь.

И так, под обиженные причитания еврейских теток и дядьев, прожили они — Зяма и Зяма — во взаимном обожании целых девятнадцать лет, до того дня, вернее, утра, когда дед не проснулся, не открыл глаз, не вставил новенькую дорогую челюсть, не крикнул на всю квартиру: «Мамэлэ, иди послушай этот сон, ты лопнешь со смеху!»

Он умер во сне мгновенной легкой смертью праведника, с вечера... — да, по-видимому, без этой детали не обойтись, — с вечера вымыв ноги.

Вот это «с вечера вымыв ноги» упоминалось в родне непременно, когда заходила речь о смерти деда Зямы, словно в этом немудреном действии заключен был некий мистический смысл очищения от праха земной юдоли, а возможно, и от конкретных земных грехов красnobандитской его юности, с ее боями, погромами и пьянством, с его знаменитыми комиссарскими сапогами.

Дед умер во сне, с вечера вымыв ноги.

Понятно, что на этом могли заикнуться тетя Бася, Фира или дядя Исаак, ну даже отец — куда ни шло. Но Зяма-то, Зяма! — к тому времени студентка второго курса консерватории, — при чем тут это предсмертное омовение ног?!

Нет, и много лет спустя, рассказывая о смерти деда, заранее дав себе слово обойтись без уточнения никому не интересных обстоятельств, она говорила светло и просто:

«Деда умер во сне, как праведник... — и, чувствуя, как некая смысловая сила, подобная тугой струе воздуха, втягивающей соринку в хобот пылесоса, тащит ее к завершению фразы, — покорно и тихо заканчивала: — ...с вечера вымыв ноги...»

16 Дед умер в разгар ее первого романа, о котором знал только он, он один («ай, мамэлэ, брось, он не стоит твоих вдохновенных соплей! Не подойдет этот — возьмем другого»).

К тому времени Зяма переросла деда на целую голову, возможно, благодаря своей невероятной шее.

С этой шеей хлопот было немало: высокая поднялась шейка, с характерным прогибом, — девочку с детства затаскали по врачам. Мать волновалась: не зоб ли это намечается? Записывались в очередь к светилам эндокринологии, сдавали анализы. Пока наконец пожилая женщина, врач, профессор Сарра Михайловна Крупская (визит пятьдесят рублей) не сказала:

— Оставьте вы ребенка в покое. Это именно то, что в сказках зовется «лебединой шеей».

Позже, когда вполне уже выросла — к десятому классу, Зяма научилась своей шеей пользоваться, когда это было нужно: черная бархотка, кованный, грузинской искусной работы ошейник, кружевной высокий воротничок, и над этим — очень короткая (не заслонять же такую шею!) стрижка...

Все это были сильнодействующие средства.

Нет, не собираюсь я описывать ее внешность. Да и что еще не описано? Все описано. Возьмите лоб: высокий, низкий, покатый, скошенный и т. д. Это — что касается формы. Фактура: гладкий, бугристый, чистый, прыщавый, обветренный и пр. Цвет: бледный, смуглый, желтый, красный, синий, коричневый... да практически все цвета и оттенки. Ну, вот еще — пятнистый, если вам угодно. Состояние: вспотевший, холодный, горячий, остывший... Да смотрите, в конце концов, «Словарь эпитетов»!

Нет, все описано. Даже мочки ушей. Даже корни волос. Нет нужды напрягаться.

Но вот эта шея — трогательной красоты и стати, и ладно посаженная на ней аккуратная головка... нет, ничего особенного — короткий темный шатен и расхожий набор черт лица, выточенных и пригнанных природой ловко и с явной симпатией, — вот и вся Зяма, не считая, конечно, всего остального — в юности тонкого, узкого, незамечаемо легкого, как змейка, к сорока годам же...

Кстати, о возрасте.

Зяма, как и всякий российский интеллигент, страдала раздвоением личности. То есть она не очень и страдала, просто жила каждую минуту с разных точек зрения. Поворачивала эту данную минуту и так и сяк, рассматривала ее под разным освещением. С одной стороны, конечно... но с другой стороны...

Возьмем такую несомненную определенность, как возраст. Человек рождается, и так далее. Соответственно, каждый год ему исполняется столько-то и столько-то. И наконец исполняется ему сорок. Это с одной стороны.

С другой стороны, Зяма твердо помнила, что ей четырнадцать лет (известно, что каждый человек застревает на каком-то своем, присущем его психике, нервам и мироощущению возрасте).

Недавно, к примеру, побывала Зяма у врача.

Специалист, быстроглазый хмурый мужчина со шкиперской бородкой, минут пятнадцать деловито занимался Зяминой, вполне заурядной, грудью — где-то поприжал, где-то пробежал пальцами, как по клавиатуре, помял под мышками, заставлял поднимать и опускать руку. С левой возился дольше, видно, она ему больше понравилась: прижимал и отпускал, рассматривал, откинув голову и прищулив глаз; он как-то обособил ее от правой... словом, показал себя эстетом. Потом разрешил одеться и сел к компьютеру.

18 — Сколько тебе лет? — спросил он, набирая что-то на экране. К этому Зяма привыкла — к тому, что в иврите нет обращения на «вы».

— Четырнадцать, — обронила она задумчиво, застегивая лифчик.

За ее спиной перестали щелкать по клавиатуре, повисла вежливая пауза. Зяма продела руки в рукава свитера, натянула его на голову и обернулась.

Врач смотрел на нее пристальным доброжелательным взглядом.

— Сколько? — с мягким нажимом переспросил он. Зяма очнулась.

— Ой, извини! Сорок...

Так о возрасте: Зяма любила выбрасывать старые вещи. И не очень старые. И просто надоевшие. Выбрасывать, отдавать, убирать с глаз долой, расчищать пространство, выметать мусор, освободить площадку. Чувствовала при этом взрыв радостного обновления жизни, возобновления действия — итак, продолжаем! в следующей главе нашего рассказа...

Она выбрасывала все. Если летела набойка на каблуке, Зяма с облегчением выбрасывала туфли. Не говоря уже о дырочках на носках, о треснувшей по пройме рубашке...

Так она выбросила первого мужа, заметив, что ее любовь к нему совершенно износилась и нуждается в основательной штопке...

Было в этом высвобождении из старой шелушащейся кожи прошлых обстоятельств, связей и вещей некое тайное чувство, которое ужасало ее: когда умирал старый больной человек, Зяма испытывала такое же — о, ужасное, постыдное, безнравственное! — чувство разумности и естественности освобождения пространства, обновления жизни: итак, продолжаем! в следующей главе нашего рассказа...

С некоторых пор Зяма приглядывалась к своему отражению в зеркале.

Собственно, ее худошавое, с корректными чертами лицо не менялось: счастливая суховатая порода, дедова закваска, крепкие ноские гены — жизнь тут ни при чем. Так, лишь обозначилась вертикальная морщинка между бровями и округлилась линия подбородка. Естественные возрастные изменения. Но она вглядывалась в себя деловито-хозяйским, холодным глазом, словно прикидывала — не пора ли выбросить эту пообносившуюся физиономию?

* * *

Автобус номер 405, следующий по маршруту Иерусалим — Тель-Авив, осаждали ребята из бригады «Голани», и она удивилась тому, что среди бойцов этой прославленной бригады довольно много невысоких шуплых мальчиков с торчащими кадыками. Открыв все багажные отсеки автобуса, они забрасывали внутрь тугие тяжеленные баулы. Несколько штатских смиренно перебирали ногами в общей очереди.

Позади Зямы курили двое в форме летных частей.

— Они займут весь автобус, эти «Голани», — неodobрительно заметил один из летчиков. — Такие наглые!

Второй, рядом с ним, был русским. Этнически русским: пшеничная круглая голова, белесые короткие ресницы — ну просто механизатор совхоза «Красная заря» где-нибудь под Черниговом. Он докурил, отшелкнул окурочек и проговорил с досадой, почти без акцента:

— Опять опоздаем...

Господи, все перевернулось, подумала она, все смешалось, лопнуло, потекло, растеклось по землям...

...Она сразу и без усилия вобрала в себя и эту страну, и население, поначалу изумившее ее горластостью и простотой. А ведь мы, выходит, — народ восточный, открыла она с необычным для нее, глубинным смирением. Приняла это, как впервые вбираешь потрясенным взглядом лицо своего ребенка, поднесенного к твоей груди на первое кормление. В ее памяти всплыли подзабытые словечки и присказки деда: он говорил «мейлэ», когда имел в виду «ладно», вздыхал часто: «Хоб рахмонэс»¹ и имя Иерусалим произносил как «Ершолойм».

Еще она вспомнила, что по субботам он почему-то носил в доме туркменскую тюбетейку и сам был ужасно похож на старого туркмена, со своими «мейлэ» и «хоб рахмонэс». Все было правильно: мозаичный узор судьбы подбирался по камушку, складывался медленно и старательно. И — поняла она — удивительно верно. В первые же дни она ощутила себя камушком, точно вставленным в изгиб узора огромного мозаичного панно, кусочком смальты, которые подбирает рука Того, Кто задумал весь узор.

Ах, пошел бы Зяме Париж! Или Кельн, или Ганновер. Легкой утренней пробежкой в светлом плаще, переулкем-ущельем между зданий готической архитектуры... Да делать-то нечего. Нечего делать, господа: лицо своему ребенку не переродишь...

Но за это смиренное принятие была она вознаграждена сразу и с лихвой: стала встречать на улицах, в магазинах, в транспорте своих умерших родственников. Так, вдруг разительно больно совпадали в чужом человеке тип лица, и походка, и манера совать под мышку свернутую в трубочку газету — вылитый дядя Исаак, только чуть больше лысина на затылке, — так ведь сколько лет после его смерти прошло.

1 Хоб рахмонэс — будь милостив (*иврит*).

А сколько раз она уже натыкалась на деда! Дважды бежала следом, чтобы еще раз в лицо заглянуть (хотя осознавала, конечно, что выглядит странно). И радостное вздрагивание души, захлестнутое дыхание, спазм в горле, слезы на глазах — были ей такой наградой за все безумие отъезда...

...В автобусе она села позади водителя — марокканского еврея, сработанного из цельной глыбы. Так работают скульпторы, обобщая детали: круглая голова — литая шея — мощно отлитые плечи, огромные ладони, слитые с баранкой. И даже складки на мягкой фланелевой рубашке с откинутым на спину капюшоном казались слитными со всеми его скупыми движениями и сделанными из того же материала, например из терракоты.

Челночными осторожными ходками двухэтажный автобус выбрался с площади перед центральной автостанцией и узким подъемом, то и дело застревая в потоке истерично гудящих легковушек, — круто влево и круто вправо — наконец выровнялся на шоссе номер один.

Слева и сзади высоко завис Иерусалим, а справа внизу — кругами разошелся белый, в голубовато-молочной пенке облачков, приперченный красной черепицей Рамот.

Этот выезд, этот первый поворот на шоссе, этот вылет в простор Божьей сцены всегда напоминал ей те первые мгновения, когда самолет уже оторвался от земли и набирает высоту, и бегут вниз и косо вбок веселые лоскуты луговой зеленой замши и черно-зеленая щетинка лесов...

Постоянное и всегда смешливое изумление вызывала в ней кукольная отсюда башенка мавзолея над могилой пророка Самуила. Так ладно, уместно, нарочито театрально венчал этот мавзолей один из дальних круг-

22 лых холмов. А однажды, пасмурным утром, она видела прожекторно-желтый луч, настырный, как указующий перст. Он упирался в башенку мавзолея, прорвав стеганное дождем, тяжелое небо. На этой земле, под этим небом, с их театральными эффектами, легко было трепетать перед Всевышним...

Рядом с ней сел солдатик из «Голани», винтовку поставил меж колен, дулом вверх. Она взглянула мельком — кустистые черные брови над горбатым носом, суровое горское лицо. В проходе, прямо на своем бауле сидела девочка в форме танковых частей.

Почему ему не приходит в голову уступить девочке место, с досадой подумала Зяма. Ну да, они — солдаты, оба солдаты...

Они негалантны, подумала она со вздохом. Нет, не галантны...

В эту минуту раздалось тошнотворно знакомое позвякивание меди в пустой жестянке из-под «колы». Так и есть. И опять она не заметила, как проскользнул, как свинтился, как просочился этот тип в автобус.

Равномерное позвякивание приближалось, вот уже на ступеньках лестницы со второго этажа показались грязные босые ноги в коротких чужих брюках с незастигнутой, как обычно, ширинкой, затем — вышитая жилетка на голое тело — вогнутая волосатая грудь с розовым серпообразным шрамом под сердцем — и, наконец, тревожно улыбающаяся, безумная физиономия иранского еврея лет сорока.

Мустафа, будьте любезны.

Он спустился по лесенке и, потряхивая банкой, крикнул:

— Мустафа шатается!

Пассажиры, страдальчески морщась и вздыхая, отвернулись к окнам или уткнулись в газеты.

Он побежал по автобусу, натываясь на солдатские

баулы, погремливая жестянкой и распространяя вокруг сложный запах пота, пива, мочи и дезодоранта. Добежав до водителя, громыхнул медью над его ухом и объявил опять тревожно и внятно:

— Мустафа шатается!

Здоровяк за рулем сказал, не повернув головы:

— Высажу!

И эта короткая угроза произвела на безумного голландца действие не только умиряющее, но даже успокаивающее.

Он сел на ступеньку, заулыбался и запел, ритмично встряхивая баночку.

«Вот, вот идет Машиах...» — пел он, и мимо уносились крутые склоны лесистого ущелья Иерусалимского коридора.

Мустафа жил в автобусах номер 405, следующих по маршруту Иерусалим—Тель-Авив. Водители пускали его без билета, потому что Мустафа не занимал места. Он бегал по автобусу, снедаемый страшной, неутихаемой тревогой. Если он особенно сильно оживлялся, топал и нестерпимо громко пел о Машиахе, беспокоя пассажиров, следовало только пригрозить ему высадкой на шоссе. Он мгновенно стихал, присаживался на ступеньки и тихо напевал или дремал.

Приехав в Тель-Авив, он минут сорок шатался по улочкам старой автобусной станции, где хозяйева лавочек — жестоковыйные и милосердные восточные евреи — подкармливали его, одевали и издевались над ним. Они его орошали дезодорантом, омерзительно-парфюмерный запах которого Мустафа ненавидел. Он чихал от него и кашлял. Вероятно, это была аллергия.

— Вот, вот идет Машиах! — кричали они, смеясь. — Эй, Мустафа, подойди, я дам тебе питу.

И когда несчастный безумец опасно приближался, робко и хищно выхватывая питу из руки мизраха¹, тот успевал прыснуть на бродягу пахучей струёй из баллончика. Мустафа визжал, плакал, кашлял и чихал. И убегал к огромному зданию новой автобусной станции, чтобы, незаметно проникнув в салон четыреста пятого автобуса, бегать по нему взад-вперед, вверх и вниз до самого Иерусалима...

...Автобус уже спустился с гор и катил распахнутой долиной Аялона. Солдатик рядом с Зямой беззащитно и самозабвенно спал, клоня голову на ее плечо. Его пухлые губы и во сне сложены были в непреклонную, упрямую гримасу. И девочка на бауле спала, опустив голову на скрещенные руки. Ветер из окна поддувал тончайшие спиральки волос на ее подростковой шее.

Их перебрасывают к Ливанской границе, вдруг поняла Зяма, связав утренние плохие новости, и этих ребят из бригады «Голани», и двух летчиков, которые сейчас сидели где-то на втором этаже. Мысленно она говорила уже не «Ливан», а как местные жители — «Леванон»...

...Автобус подъезжал к Тель-Авиву, вот уже показались на равнине контуры могучего холма — городской помойки, в просторечье — Тель-Хара. Переводилось это романтическое благозвучное имя как Холм Дерьма или, если так удобнее, — Дерьмовый Курган. Всякий день очертания его вершины менялись: то с одного боку насыплет мусоровоз горку, то с другого. То вздымался посередине гребень, то словно двугорбый верблюд остановился на равнине. Чайки дружными серебристыми стаями, издали — под лучами солнца — похожие на блестящих рыбок в аквариуме, всегда носились над величественным Тель-Харой. По гребню его ползали грузовики-мусоровозы.

1 Мизрах — презрительная кличка восточного еврея.

Иногда Зяма представляла, что если заснять на пленку изменения рельефа этой горы, а потом прокрутить пленку в страшном темпе, то Дерьмовый Курган шевелился бы, ворочался и волновался, как гигантское ископаемое на равнине...

Мустафа вскочил и побежал к лестнице на второй этаж — там будет греметь баночкой и, тревожно улыбаясь, всматриваться в окна. Что за мятущаяся тоска гнала его из города в город, с гор на побережье и с берега моря — в горы? В этом двойном вращении его тоски, одновременно — внутри автобуса и меж городами, — она усматривала сходство со своей тоской, мятущейся внутри страны и — вместе со всем народом — внутри Вселенной.

На спине водителя валялся мятый фланелевый капюшон. Зяма представила, как в дождь, выбегая из автобуса в диспетчерскую, он набрасывает его на голову — детский капюшон на этой полуседой курчавой голове марокканского быка. А на ногах у него должны быть старые кроссовки...

Вот что пугало ее: домашность всей этой страны и ее населения.

Все ее жители относились к стране, как к своей квартире, и так одевались, и так жили, не снимая домашних тапочек, и так передвигались по ней, и так ссорились, — незаметно, небрежно и смертно привязаны к домашним, — совершенно не вынося друг друга, и взрываясь, когда чужой посмеет плохо отозваться о ком-то из родни... Они так и убегали из нее, как сбегают из дома — до конца дней не в силах окончательно вырвать его из себя.

Автобус вырулил на мост Ла Гардиа и остановился. Здесь всегда выходили солдаты. И ее мимолетный сосед, суровый горский мальчик, и девочка, всю дорогу проспавшая в немыслимой позе на своем вещмешке, и

26 двое летчиков, и шустрые, наглые «Голани» — вытаскивали баулы из багажника.

Зяма смотрела в окно на русского. Ему очень шла форма летных частей, вообще он был крупный, хорошо сложенный, скованный и неяркий человек — среди этих черноглазых, развинченных в движениях, уроженцев Средиземноморского побережья.

Ну что ж, подумала она, мы ведь тоже повоевали за их землю. И ужаснулась — за чью, за «их»? Все смешалось, все перевернулось, Господи...

Наконец причалили к перрону шестого этажа новой автостанции. Водитель потянулся, заломив руки над головой, крикнул и стал ждать, когда пассажиры выйдут.

Мустафа уже выскользнул и пошел нырять в разбегающуюся по эскалаторам толпе.

Зяма вышла последней. Она всегда выходила последней и всегда говорила водителю «спасибо». Для нее это была примета, условие удачного дня, талисман.

Выходя, она скосила взгляд вниз, на его ноги. Да: старые кроссовки без шнурков... Нас всех когда-нибудь тут перебьют, в который раз подумала она в бессильной ярости, — в этой открытой всем ветрам трехкомнатной стране, в этих наших домашних тапочках...

Вот многие считают: рухнула империя, поэтому и повалили, покатались, посыпались из нее потроха — людское месиво.

Распространенное заблуждение — подмена следствием причины.

А может, для того и полетели подпорки у очередной великой империи, чтобы пригнать Божье стадо на этот клочок извечного его пастбища, согласно не сегодня —

ох, не сегодня! — составленному плану? Еврейский Бог — не барабашка: читайте Пророков. Медленно и внимательно читайте Пророков...

С чем сравнить этот вал? С селевыми потоками, несущими гигантские валуны, смывающими пласты почвы с деревьями и домами?

Или с неким космическим взрывом, в результате которого, клубясь и булькая в кипящей плазме, зарождается новая Вселенная?

Или просто — неудержимо пошла порода, в которой и самородки попадались, да и немало?..

Как бы то ни было, все это обрушилось на небольшой, но крепкий клочок земли, грохнулось об него с неимоверным шумом и треском; кто расшибся вдребезги, кого — рикошетом — отбросило за океан. Большинство же было таких, кто, почесывая ушибы и синяки, похныкал, потоптался, расселся потихоньку, огляделся... да и зажил себе, курилка...

* * *

ДЦРД — Духовный Центр Русской Диаспоры — посещали люди не только духовные. Завхоз Шура, к примеру, утверждал, что не было в Духовном Центре такой вещи, которую не сперли бы многократно.

Каждые три дня крали дверной крючок в туалете. Крючок. При этом оставляя на косяке железную скобу, на которую этот крючок накидывается.

Примерно раз в пять дней выкручивали лампочку над лестницей, ведущей на второй этаж. Это можно было осуществить только с риском для жизни, сильно перегнувшись через перила второго этажа, и чтобы кто-нибудь держал за ноги, иначе можно разбиться к лебедям.

28 (Тут необходимо добавить, что в супермаркете лампочка стоит два шекеля восемьдесят агорот...)

Существование бара в одном из закутков ДЦРД расцвету духовности тоже не способствовало. И хотя содержала его милая женщина с усталой, извиняющейся за все улыбкой — бывшая пианистка из Тбилиси и, дай бог не соврать, чуть ли не лауреат какого-то конкурса, — именно ее земляки, с особой охотой посещавшие бар Духовного Центра, придавали этому заведению необратимо закуточно-грузинский оттенок. Среди всех выделялся некто Буйвол — чудовищной массой, волосатостью и грубостью. Он заказывал обычно лобио, хачапури и сациви, поглощая все это в неопрятном одиночестве, чавкая, сопя и закатывая глаза в пароксизме гастрономического наслаждения. Окликнет его кто-нибудь в шутку:

— Буйвол, ты что — похудел?

Он испуганно воскликнет:

— Ты что, не дай бог!

По средам вечером гуляли тут журналисты, коллектив ведущей русской газеты «Регион» — отмечали завершение и отправку в типографию очередного еженедельного выпуска. А были среди журналистов «Региона» люди блестящие — умницы, эрудиты, отчаянные пройдохи и храбрецы, в советском прошлом — все сплошь сидельцы: кто за права человека, кто за угон самолета, кто за свободу вероисповеданий.

Был в Духовном Центре и зал со сценой, добротный зал мест на четыреста, и косяком пер сюда гастролиер, неудержимо, как рыба на нерест.

Известные, малоизвестные, не столь известные, а также знаменитые российские актеры и эстрадные певцы, барды, чтецы и мимы, оптом и в розницу, то сбиваясь в стаи, то оставляя подельников далеко позади, бе-

зусловно, поддерживали высокий накал духовности русской диаспоры.

Извоз российских гастролеров держали почему-то украинские евреи. Может быть, поэтому анонсы предстоящих гастролей, напечатанные в русских газетах, шибали в нос некоторой фамильярностью. Рекламные объявления обычно не редактировались, так что даже в культурном и грамотном «Регионе» можно было наткнуться на зазывы: «Такое вам еще не снилось!» Или: «Впервые в вашей жизни — в сопровождении канкана!»

Сценарий проката джентльменов в поисках десятки был всегда одинаков. Первым у приехавшей знаменитости брал интервью журналист газеты «Регион», известный местный культуролог Лева Бронштейн — безумно образованный молодой интеллектуал, знающий невероятное количество иностранных слов. Он выстраивал их в предложение затейливой цепочкой, словно крестиком узоры на пальцах вышивал.

Смысл фразы читатель терял уже где-то на третьем деепричастном обороте. Читая Бронштейна, человек пугался, расстраивался: был трагический случай, когда к концу пятого абзаца одной его статьи читатель забыл буквы русского алфавита.

Статьи Левы Бронштейна от начала до конца читали, кроме него, еще два человека: его подвижница-жена и профессор культурологии кафедры славистики Йельского университета Дитрих фон дер Люссе — тот был искренне уверен, что Лева пишет свои статьи на одном из восьми, известных профессору, иностранных языков.

Русская израильская интеллигенция страшно почитала культуролога Бронштейна, его имя вызывало священный трепет, и хотя дальше заголовка, как правило, никто продвинуться не мог, считалось некрасивым на это намекать. По сути дела Лева был божьим че-

30 ловеком, кое-кто даже полагал, что в свое время он будет взят живым на небо...

Приезжая знаменитость вещала в его интервью длинными сложными построениями о самых разнообразных материях: о трансцендентности начал, о детриболизированности сущностных величин, открывала горизонт специфически национального потребления, а следственно, этнической метафизики, задавала основные параметры мыслеформы и под конец интервью восклицала что-нибудь эдакое, абсолютно загадочное, парализующее зрительный нерв рядового читателя: «Нет терроризма педантичней, чем этот, до костей обглоданный риторикой!»

Затем, засучив рукава, за приезжего певца (актера, барда, поэта, мима) брались журналисты остальных двенадцати русских газет.

Эти интервью читать было легко и привычно: как-то внезапно позабыв о высоких сферах и обглоданной риторике, знаменитость жаловалась на трудное российское житье, дороговизну рынка, возросшую преступность и духовное оскудение российского общества...

И наконец, обалдевшая от напора масс-медиа и потерявшая бдительность знаменитость попадала в лапы Фредди Затирухина — главного редактора, ответсекретаря, репортера, корректора, а также курьера, вышибалы и поломойки паршивой порнографической газетенки «Интрига».

Фредди овладевал знаменитостью обманом и чуть ли не силой: он являлся в отель выбритым и дезодорированным и, открыв роскошный дипломатический кейс, доставал оттуда дорогой японский диктофон...

Рекомендовался он, как правило, президентом. Это принято: президент компании такой-то. У него и на визитке было написано золотом: «Фредди Затирухин. Президент».

Содержание

«Вот идет Мессия!..»	5
Иерусалимцы	393